

## 0: ЛЕХ ВАЛЕНСА, или О ПОЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЕ ЛИДЕРСТВА

04.1989, Варшава, «Круглый стол». НН, Т. Мазовецкий, Л. Валенса, В. Фрасынюк, З. Буяк.

Фото: Agencja Gazeta.

Мы в Польше до сих пор не понимаем феномена «Солидарности», не понимаем сущности победы в августе 1980-го. Не понимаем, чем был феномен лидерства Леха Валенсы. Без понимания мы не в состоянии сделать выводы, мы не можем учиться на этом собственном, исключительно позитивном примере. Лех Валенса был не только вождем забастовки, а затем «Солидарности». Он был прежде всего вождем независимой польской политики того полного успехов времени — «звездного часа», как его назвал Яцек Куронь. На роль вождя Леха вынесла волна общественного протеста. Вместе с тем оказалось, что он не только хорошо себя чувствует на гребне волны, но умеет волну поддерживать, укреплять, умеет обуздать ее потенциально разрушительный характер. Лозунг «самоорганизующейся революции» хорошо описывает тогдашнюю «Солидарность», характера которой нельзя понять без Леха. Он избегал экстремизма, даже властвовал над ним и вместе с тем не капитулировал. Время интернирования и подполья — это победа силы его духа над секретными службами, способными на любую подлость.

Лех Валенса. Совершенно особенная фигура в истории польской политики, потому что он — из простых людей. Был рабочим. Но именно вокруг него собрались самые выдающиеся фигуры польской жизни. Тадеуш Мазовецкий, Бронислав Геремек, Яцек Куронь, Адам Михник, Веслав Хшановский, Кароль Модзелевский и многие-многие другие. Они поддерживали Леха своими знаниями и советами. Произошло исключительно эффективное слияние воли к действию и решительности с интеллектом и опытом. Для меня это великолепный пример сотрудничества элит, имевшего широкое содержание и глубокий смысл. В «Солидарности» сотрудничество и взаимная помощь разных общественных групп охватывали все уровни профсоюзной организации. Поэтому я могу утверждать, что «Солидарность» была не только профессиональным союзом, но также общественным движением, в котором осуществилось подлинное единение рабочих и интеллигенции. Подлинность этого единения выражалась в том, что мы взаимно стремились познать свои проблемы, понять их, понять суть выполняемой нами работы, найти то, что нас объединяло. После наших дискуссий мы знали, что не следует делить занятия и профессии на «лучшие» и «худшие», что любой труд заслуживает уважения и признательности. В атмосфере того времени было, разумеется, кое-что еще: прекрасно функционирующее общественное мнение, которое, прежде всего, выражалось независимой прессой, выходившей под эгидой «Солидарности». Эта пресса профессионально выполняла миссию информирования граждан о событиях и несла знания о сущности общественных, хозяйственных и политических проблем. И разворачивала соответствующие общественные дискуссии о способах их решения. Благодаря таким дебатам становились возможными разумные решения руководства «Солидарности» и самого Леха Валенсы.

Первыми, кто увидел в Лехе Валенсе способность возглавить августовскую забастовку, были историк Богдан Борусевич и педагог Яцек Куронь. Я намеренно назвал их специальности, поскольку для меня это свидетельствует об исключительной интуиции этих политических фигур. Об одной лишь интуиции? Не только! Это также осознанное решение о разделении ролей. Решение оказалось на редкость верным. Лидерство Леха позволило довести августовскую забастовку до победного соглашения. Содержание соглашения было результатом интеллектуальной работы самого Борусевича (он свел сотни требований до числа 21) и группы советников под руководством Тадеуша Мазовецкого. Бастующие рабочие и поддержавшие их продовольствием крестьяне придали забастовке необходимую политическую силу. Лех Валенса наполнил ситуацию волей к действию и решительностью. Представители интеллигенции наполнили ее содержанием. Можно ли какую-либо из этих составляющих устранить и при этом думать об успехе? Нет! Нет, и сто раз нет! Эта ситуация объединения всех общественных групп и слоев — единственный известный мне случай в нашей истории, причем единственный, завершившийся столь очевидной стратегической победой. Сотрудничество групп и помощь руководству «Солидарности» касалась не только Леха Валенсы, но всех уровней профсоюза. Как председатель «Солидарности» Мазовецкого региона, я мог рассчитывать на помощь в любом деле и в любой проблеме, с которыми мне приходилось разбираться. Когда сотням, даже тысячам людей надо было передать информацию о создании независимых профсоюзов, мне помогал Януш Онышкевич, привлечший группу консультантов. Когда нужно было определить темы переговоров о правоспособности и вести переговоры с правительством, я мог привлечь Адама Стшембоша (судью), Яцека Курчевского (социолога-правоведа) или

Януша Гжелюка (социального психолога). Именно в ходе этих переговоров 1981 г. был поставлен вопрос о Конституционном суде, о Государственном трибунале, об уполномоченном по гражданским правам. Жаль, что в этих учреждениях во время юбилейных празднований забыли о своей родословной, идущей от «Солидарности». «Забвение», увы, не случайное. Это симптом отхода от тогдашнего, времен «Солидарности», опыта, с его культурой сотрудничества всех общественных групп и консультации при выработке стратегических решений.

Уже в 1980 г. группа социальных психологов из Варшавского университета организовала для меня нечто вроде курсов, благодаря которым я научился распознавать авторитарные механизмы правления и управления. Приобретенный тогда навык сохранился по сей день. Благодаря ему я могу показать авторитарные механизмы не только в ПНР, что банально, но и в Третьей Речи Посполитой. И коль скоро я вижу, что по сей день авторитарное правление недурно себя чувствует, я задаю себе вопрос: что произошло с нашей культурой, культурой «Солидарности», основанной на субъектной трактовке граждан? Субъектность была конституциональной чертой «Солидарности» и ответом на полицейско-прокурорские методы господства над гражданином в ПНР. Субъектный подход к отдельной личности привлек в «Солидарность» 10 млн. граждан, жаждавших достойного к себе отношения. Под эгидой «Солидарности», то есть в атмосфере, созданной руководством этой организации, вырабатывались концепции реформирования всех областей общественной и хозяйственной жизни. Сегодня никто уже этого не помнит, да и не хочет помнить. Очень жаль. В ходе недавнего «круглого стола органов здравоохранения» никто даже не пробовал вспомнить то, к чему мы пришли во времена «Солидарности». А к этому опыту стоит обратиться; я считаю, что выработанные тогда концепции прекрасно выдержали испытание временем.

Разве наблюдавшиеся недавно споры о полномочиях между канцеляриями премьер-министра (Дональда Туска) и президента (Леха Качинского) — это требование времени? Разве так должна выглядеть «нормальная политика»? Если бы люди из этих кабинетов принимали решения в «Солидарности» 80-х и 90-х годов, были бы мы сейчас членами НАТО и Евросоюза? Даже страшно подумать. Однако именно таков мир наличной польской политики.

Пусть Дональд Туск прекрасно понимает, сколь велик политический капитал Леха Валенсы, пусть он прекрасно говорил о необходимости его использования для Польши. Но я так и не дождался никакой миссии, в которой Валенсу смогли бы использовать. Ему «устроили» место в «группе мудрецов» ЕС — и дело с концом. Мелкотравчатость лезет из каждой щели такого мышления и действия. Я пишу о мелкотравчатости, потому что требуется и в самом деле большой потенциал и широкие горизонты мысли, чтобы суметь использовать возможности Леха Валенсы в польской политике. Этот потенциал когда-то существовал. Именно благодаря ему Лех сумел достичь величия. Что же вызвало крушение этой необычайно эффективной для польской политики кооперации главных общественных групп и элит периода «Солидарности»? К сожалению, у меня нет однозначного ответа. Кто-то может указать на самого Леха как на виновника этой ситуации. Я сам критиковал его слова, обращенные к Ежи Туrowsичу. Сегодня, однако, я вижу, что это был взрыв злости человека, уже остающегося в одиночестве, уже низводимого до роли памятника. У него не было «необходимого» образования, он не владел иностранными языками, так что выполнение им высокой функции оскорбляло «чувство собственного достоинства» большей части нашего общества, в том числе формирующей общественное мнение интеллигенции. Это фатальное мышление с фатальными последствиями. Когда я в последние годы слушаю и наблюдаю соответственно «образованных» премьеров, министров, их лингвистические концерты, я думаю, что наказание за произошедшее все же слишком жестоко. Величие Леха Валенсы понимали лишь несколько человек. Понимали Яцек Куронь, Адам Михник, Бронислав Геремек. Признанием и уважением он пользовался, конечно, у крупнейших представителей польского культурного и научного мира. Однако я пишу о «понимании», потому что для меня это слово включает умение мыслить и видеть, как этот необычайный человеческий капитал может служить нашей демократии, реформам, положению Польши в мире. Это редкое умение. Ничего удивительного, что те, кто им обладает, — также сильные личности. Пожалуй, Лех этого не создавал, а если и создавал, то не сделал правильных выводов. Произошло расставание. Польская политика утратила свою необычайную эффективность.

Можно сказать, что именно люстрационное безумие разобщило самую творческую и активную часть польской интеллигенции, ударило по самому Леху. Уязвленные и разобщенные не в состоянии выполнить свою роль. Я считаю, что правды бывает даже слишком много, и нельзя понять нынешний кисель в польской политике без учета этого факта. Да, конечно, легко нападать на таких людей, как Адам Михник, Бронислав Геремек, Тадеуш Мазовецкий, Яцек Куронь. Здесь не надобно мудрости — довольно лукавства, потому что даже крупница разума такого не позволит. Достаточно соответствующей дозы глупости — и кто глупее, тому и легче. Только вот из таких нападков никакая новая политика не рождается, никакие новые выдающиеся фигуры не возникают. И это не объясняет, что произошло с культурой «Солидарности» — культурой кооперации элит всех общественных групп. У меня нет сомнения, что люстрационные безумства — это результат упадка прежней культуры. Я считаю, что частичное объяснение мы найдем в первом периоде после «круглого стола». В начале статьи я стремился

показать роль нашей интеллигенции во времена революции «Солидарности». С точки зрения опыта нашей истории, она была едва ли не уникальной, ибо помогала лидерам «Солидарности» не только понять события, но и находить решения проблем. А проблем было столько, сколько существовало групп, регионов, отраслей, учреждений и т.д. Подобную роль интеллигенция, пожалуй, сыграла в межвоенный период. На это указывают крупные хозяйственные проекты, развитие различных общественных инициатив и кооперативного движения. Эта роль не вполне типична для интеллигенции, а тем более для интеллектуалов нашей части Европы. Во время разделов, под властью Советов задача интеллектуала — «свидетельствовать». Поэтому он пишет то, что думает, творит вне цензуры, печатает самиздат, дает интервью журналистам из свободного мира, подписывает письма протеста. Часто идет за это под арест, в тюрьму, в ссылку. Такая позиция требует большой силы духа, большого гражданского мужества, она ставит под угрозу собственную безопасность и безопасность близких. Однако она не требует интеллектуального усилия, так как не требует ответа на вопрос, как решить конкретную проблему. Ситуация полностью изменилась после победы. Когда побеждает революция «Солидарности», «бархатная» революция, «революция гвоздик» или «оранжевая», сразу же возникают тысячи проблем, которые необходимо решить. Демократия, свободный рынок, самоуправление наличествуют во многих странах. То есть знание, как это делать, имеется. Но, обращаясь к нему, необходимо это знание приспособить к собственным условиям и культурной традиции. И передать его гражданам. Именно так происходило в нашей первой «Солидарности». Что затем произошло с этим культурным завоеванием своего времени? По сути, это вопрос о феномене лидерства Леха Валенсы. И это вопрос не только о его индивидуальных чертах и отношении к другим людям. Это и вопрос о роли интеллигенции в движении «Солидарность» и ее отношении к лидерству Леха Валенсы. Место Леха в мировой политической элите лучше всего разъяснил мне Бронислав Геремек. Вот, говорил он, представь себе салон в Версале, в котором собрались самые выдающиеся люди мира во главе с премьерами, президентами, королями и императорами. Благодаря «Солидарности» я многое могу сказать о политической ситуации в нашей части мира. Могу рассказывать об этом на нескольких языках, так что без проблем собираю вокруг себя приличную группу слушателей. Когда же, однако, в салон входит Лех Валенса, всё внимание концентрируется на нем. Потому что именно он олицетворяет самые главные политические события нашего региона. Забастовку и августовское соглашение, «Солидарность» и победу без насилия, «круглый стол», проевропейскую политику и рыночную хозяйственную реформу.

Для меня, рабочего с «Урсуса», успехи Леха Валенсы были источником гордости и тем самым столь желанного обретения чувства собственного достоинства. Я думаю, что так же воспринимали Леха другие, с других предприятий страны. Нам нужен был кто-то, благодаря кому мы перестанем быть объектом манипуляций и использования партийным аппаратом тех времен. Нам нужен был кто-то, при ком мы организуемся для борьбы за достойное, субъектное отношение к нам, гражданам, со стороны партийно-государственного аппарата. Политику демократического государства мы понимали так, как это определил Аристотель, т.е. как реализацию добра в публичной сфере. «Солидарность» была нашей Агорой. Здесь встретились все, кто принимал правила демократии и взаимно признавал собственную субъектность и все вытекающие из нее права. Я уверен: сегодня большинство граждан чувствует, что на нашей «Агоре» для них нет места. Их место — это место работы. Государственное правление, организация администрации — это для других, «лучших», «лучше образованных». «Одни на время борьбы, а другие на время строительства». Таков был лозунг начала девяностых годов. Я воспринял его очень болезненно. Но признал всё же, что в нем есть некий смысл. Сегодня же вижу, что «строители» навязали мне государство, в котором все проблемы, неудачи, ошибки решаются и выправляются с помощью полиции и прокуратуры. Государство, в котором секретные службы творчески продолжают свои труды, столь хорошо мне известные по военному положению. Зловещий ЦК, царящий над «правоспособностью» граждан, как в прошлом и настоящем, так и в будущем, творчески заменен Институтом национальной памяти. С давлением и методами ЦК мы справились, противопоставив им культуру «Солидарности». Эта культура в состоянии и сегодня изменить облик нашей страны, в состоянии вернуть субъектное, полное уважения отношение к гражданам в нашем государстве. Это возможно. Но в состоянии ли общественное мнение вновь обрести знания и навыки, присутствовавшие в движении «Солидарность»? Если мы того захотим, я почувствую этот момент по тому, что, кто и как пишет о Лехе Валенсе.

---

**Збигнев Буяк** (род. 1954) был одним из наиболее известных деятелей «Солидарности» в первый период ее существования. По профессии рабочий, в 1980 основал независимые профсоюзы на машиностроительном заводе «Урсус», возглавлял правление «Солидарности» Мазовецкого региона. После введения военного положения скрывался до 1986 года. Его подпольная деятельность и побеги от ГБ вошли в легенды. Был участником «круглого стола», затем депутатом Сейма. Основал Гражданское движение «Демократическая акция». Был связан с такими партиями, как «Уния труда» и «Уния свободы». Последний государственный пост — директор Главного управления пошлин (1999-2001). Получил высшее образование по политологии, преподает в Варшавском университете.

# 1: ВСТРЕЧИ С «ДРУГОЙ РОССИЕЙ»

Мы отправились на вечер авторской песни Булата Окуджавы. Мы слышали о нем уже немало: одни отзывались пренебрежительно, другие — с восторгом. Такие противоположные мнения подогревали любопытство. Поэтому узнав, что Окуджава будет выступать в МАИ, мы незамедлительно обратились к Виктору Борисову, умоляя помочь; он устроил нам билеты с печатью Союза писателей. Добираемся до места. Вокруг — несметная толпа. Порядок поддерживает конная милиция. Мы прокладываем себе путь с билетами в руках. Я чувствую, как кто-то изо всех сил дергает меня за рукав. Какая-то девушка, поняв, что мы иностранцы, отчаянно шепчет мне на ухо: «Умоляю, умоляю, скажите, что я с вами!» Удалось. В зале стоит гул, как в улье, атмосфера накаленная. Наконец появляется Окуджава с гитарой. Ногу ставит на стул. Густая черная шевелюра и подстриженные усы. Совсем как на подаренной нам фотографии. Он сам объявляет, что будет петь. Некоторые песни зал хорошо знает и заранее приветствует бурными аплодисментами. Другие вещи слушают сосредоточенно. Любой малейший намек зал подхватывает и встречает аплодисментами, например в песенке про черного кота, который вроде никак себя не проявляет, но «желтый глаз его горит», и все его боятся, подкармливают и вдобавок благодарят, что соблаговолил принять их угощение. «Усы», «Усатый» — так говорили о Сталине, как нам объяснила Евгения Гинзбург. И что с того, что его уже нет, — вокруг полно его наследников, которые всё громче заявляют о себе. Каждая песенка будоражит воображение и отличается от того, что звучит из радиоприемников; самыми простыми словами в ней говорится о полномочном троллейбусе, о «комсомольской богине» и солдатских сапогах. Каждая — а мы могли бы перечислять их без конца — проникает прямо в сердце. Мы сами ощущаем, как что-то подступает к горлу под влиянием этого теплого, мелодичного голоса и этих таких простых, таких прекрасных и проникновенных слов. Иногда шуточных, как про Ваньку Морозова, который вместо «чего-нибудь попроще» циркачку полюбил, о Леньке Королеве, всегда верном, что бы ни случилось, товарище. Окуджава был — да и до сих пор, пожалуй, — в Польше хорошо известен, так что читатель, возможно, нас поймет? Это было одно из первых его публичных выступлений. Поскольку разрешение на каждое следующее выступление давали неохотно, то произведения Окуджавы и тех, кто ему подражал, а также самостоятельные произведения других авторов, старые лагерные песни и песни эмиграции начали распространяться в записях на магнитофонных лентах. Мы бегали по Москве с шестнадцатикилограммовым магнитофоном «Яуза» и записывали всех, кто тогда пел, — Кима и Визбора, Городницкого и Алешковского. Некоторые песни воспринимались как городской фольклор, например песня Юза Алешковского о «большом ученом», в языкознание знавшем толк, — товарище Сталине и о тех, кого он выслал в хорошо ему известный «Туруханский край» («Товарищ Сталин — вы большой ученый») ... Моден был и тюремный фольклор (блатные песни).

Нашу зачарованность Окуджава, вероятно, заметил: мы сидели в первых рядах. Потом в ЦДЛ он нас вспомнил. Беседовать с ним — настоящее наслаждение. Он не болтлив, острит редко, но метко. За столом он такой же, как в своих произведениях: чарующий сплав лиризма с иронией самого разного оттенка, если можно так выразиться, сочетание деликатности и решительности, искренности и смелости. Сам себя он называет «грузином московского разлива», а об Арбате поет как о своем отечестве. И он сразу стал частичкой «нашей России». Как и наш любимый писатель, москвич родом из Абхазии, неподражаемый Фазиль Искандер, тоже пишущий по-русски. Мы прощаемся с Окуджавой, ибо собираемся отправиться во Псков, по пушкинским маршрутам.

Однако вскоре мы узнали, что на эту поездку нам не дали разрешения (под тем предлогом, что там свирепствует холера). Мы могли бы попросить кого-нибудь купить нам билеты и тайно поехать во Псков, но мы этого не сделали — прежде всего из опасения, что таким образом можем вызвать недовольство властей и в следующий раз нас не пустят в страну. Мы хорошо понимали, что случиться может всякое. Для того чтобы нас предостеречь, нам рассказали историю одного иностранца, который, выдав себя за эстонца, отправился в Крым, в Коктебель, не получив разрешения милиции (это место слишком близко к границе). В какой-то момент он заметил тонущего человека и вытащил его из воды. Появилась милиция, ему пришлось предъявить паспорт. Тогда ему объяснили, что он находится тут нелегально и нелегально спас тонущего. Его немедленно выслали из страны с запретом въезда в дальнейшем. А ведь Россия была не только нашей любовью, но и нашей профессией — мы не могли рисковать.

Когда Окуджава увидел нас в ЦДЛ, мы пожаловались, что нам отказали в разрешении поехать на Псковщину. «Ничего удивительного. Там же военный аэродром имени Пушкина», — ответил он с каменным выражением лица.

Потом мы еще прислали ему польскую пластинку с его песнями в исполнении наших актеров. И записи Жоржа Брассенса, чье творчество по своему настрою было настолько близко поэзии и песням Окуджавы, что у нас просто в голове не укладывалось, что он мог его не слышать. А еще по поводу текстов Булата у нас была стычка с известным польским переводчиком, знатоком русской поэзии, который обвинял его в отсутствии вкуса и считал, что его произведения слишком отдают китчем, приводя в качестве примера «Ваньку Морозова».

Наши пути неоднократно пересекались в Москве. Реже — в Польше, куда Окуджава охотно приезжал. В Польше его ценили не меньше, чем в собственной стране. И еще он был тут известен как прозаик. Окуджава симпатизировал Польше и не раз подчеркивал это свое отношение. Как-то он вспомнил с сожалением об Агнешке Осецкой, которая не заметила и никак не отреагировала на одно из его посвящений. Это было брошено мимоходом, а о подробностях мы не расспрашивали.

Встретились мы еще и... в Париже. Как-то мы отправились за покупками в ныне не существующий огромный торговый дом «Лувр». Вдруг кто-то тронул меня за плечо: «Друг, помоги купить салфеточки!» — слышу я знакомый голос. Мы помогли ему купить те самые салфеточки и сами тоже приобрели разные мелочи, которые в странах народной демократии — так же как и в стране Советов — отсутствовали, а Окуджава пригласил нас тогда на свой концерт.

Виктория отправилась на концерт одна (мне надо было раньше вернуться в университет), в зале она встретила многих знакомых русистов. Его песни принимали очень тепло, но той атмосферы, какая запомнилась по МАИ, не было и быть не могло. В Москве или в Новосибирске, где бы Окуджава ни выступал, каждое его слово находило отклик. Здесь тоже аплодировали, но было ли понимание?

\*

Он был человеком смелым, чему мы не раз были свидетелями. Когда ему случалось выезжать за границу, то при встрече он всегда нежно встречался со своими друзьями-эмигрантами, что ему не прощалось; в Польше он записал свою первую пластинку — не спрашивая ни у кого разрешения. Высказывался смело, невзирая на то что потом это влекло за собой «проработки» и другие последствия. Когда его вызывали «на ковер», требуя, чтобы он воспрепятствовал распространению магнитофонных записей с его произведениями, он красноречивым жестом отвечал, описывая рукой большой круг: «Как только вы выпустите это (то есть пластинку), то не будет и того (тут он обрисовал рукой кружок поменьше, то есть тогдашнюю магнитофонную ленту)».

До самого конца он оставался самим собой, слава не изменила его ни на йоту, а может быть, иногда даже утомляла. Охотнее всего он бы, наверное, закрылся в своем доме в Переделкине и сочинял, лишь иногда встречаясь с некоторыми друзьями. Но он не мог себе этого позволить. По существу — даже трудно в это поверить — он жил от гонорара до гонорара, от концерта до концерта, в ожидании гонораров за издаваемые с большим трудом книги, не имея никаких сбережений. Северину Полляку и Жене он рассказывал, что, когда безденежье из-за запрета публиковаться и выступать его совершенно доконало, он обратился к властям за разрешением работать таксистом. Ему было отказано с мотивировкой, что у него высшее образование, поэтому он не может быть таксистом. До конца своей жизни, будучи уже тяжело больным, он продолжал выступать. Ради заработка. Худой, явно не в форме. В Польше тоже. Мы слушали его, снова ощущая комок в горле, но теперь причина была совершенно иная: мы видели, как он устал, с каким трудом, уже севшим голосом, он поет и декламирует. Когда в Париже он заболел, никто на Западе не мог понять, почему такой известный поэт и бард не в состоянии оплатить свое лечение в больнице, и друзьям пришлось организовать складчину для этой цели...

Сегодня в России, которую он считал своей второй родиной, ему припоминают и «комсомольскую богиню», и «комиссаров в пыльных шлемах», и другие, столь понятные годы назад, тексты, лишенные какого-либо пафоса и фальши тех официальных песен, которые воспевали единственную в мире «страну, где так вольно дышит человек». В России хотят верить, что жизнь его была легкой, что он был баловнем судьбы. Не доходит до людей, что песни Окуджавы — а вернее поэзия его песен — были противоядием против обязательного оптимизма и фальшивого пафоса. А это вызывало недовольство властей. И не приносило денег... Его многочисленные противники — и тогда, и сейчас — не могли и не могут примириться с его необычайной популярностью и с настоящей, нескрываемой любовью к нему целого поколения молодых, с такой любовью, которую никоим образом нельзя даже сравнивать с экзальтированной реакцией различного рода фанатов массовой культуры.

А мы то и дело напеваем его песни, в том числе и эту малоизвестную, за которую ему устроили партийную головомойку...

*Настоящих людей очень мало*

*На планету — совсем ерунда.*

*А на Россию одна моя мама,*

*Только что она может одна?..*

Прощай, Булат! Мы верим, что следующие поколения прочтут и услышат тебя заново и полюбят так, как мы тебя любили...

Отрывок из книги «Россия — наша любовь».

Варшава, «Искры», 2008.

## 2: БЕЛАЯ НОЧЬ

*Петру Равичу*

Он жил и умер в доме, перед которым я сейчас стою. Мемориальная доска на стене гласит, что тут он жил и именно в этом доме написал одну из величайших книг, которые когда-либо были созданы человеком, — «Братья Карамазовы». Доски сейчас не видно, дом едва различим в слабом свете, ночь. Ангелы передо мной, ангелы за мной, ангелы парят в воздухе, ангелы ужаса и тишины, темно, поздно, одиноко, всё может быть, всё может случиться, кто-то может всадить мне нож в спину, я могу узнать тайну, которую напрасно искал в разных частях света и времени. Дома не видно, доски не видно, но я был тут несколько часов назад, теперь пришел во второй раз. Дом спит, не светится ни одно окно, магазины наглухо заколочены, даже рынок напротив спит. Два каких-то типа с маленьким резким светом от электрического фонарика крутятся возле грузовика. Я стою на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского, которая при его жизни называлась Ямская. Здесь он жил, наверняка не раз останавливался на том месте, где я сейчас стою. Много лет я ждал этой минуты.

Большую часть своей жизни он провел тут, в Петербурге. Как и многие другие, он пытался описать этот город, наложивший на него свой отпечаток, и сам навсегда оставил свой отпечаток в этом городе, чей архитектурный облик поражал его отсутствием собственного лица и характера. Он замечал в нем влияние всех идеек и всех мод со всего мира, но стоило ему самому взяться за описание какой-нибудь из здешних улочек, она под его пером становилась неповторимой, неизгладимой в памяти навек. Картины Петербурга в «Белых ночах», «Униженных и оскорбленных» невозможно забыть. Он был летописцем самых бедных, самых мрачных улиц где-то за Сенной — нынешней площадью Мира. Война, революция и время не нарушили их, и сейчас не составит труда проследить каждый шаг Раскольников. Его читателям Петербург и сегодня служит источником особенных, необыкновенных впечатлений, словно погружает в сон, разрывая время, реальность. Дома остались такими же, хотя их характер изменился; нет проституток, нет смердящих шинков, вопиющей нищеты, крик бедности растворился в воздухе, хотя если сосредоточиться, то слышно и крик.

\* \* \*

Расположенный неподалеку Кузнечный рынок во времена Достоевского влиял на характер всей округи, превращая ее в подобие Сенной площади. В доме, перед которым я стою, писатель поселился в конце жизни, когда материально был уже несколько лучше обеспечен. Много повидал я таких домов, как этот, в котором были созданы «Братья Карамазовы». Из таких домов состояла до войны Хмельная улица, и Злотая тоже, но не у Маршалковской, а ближе к Железной. Несколько часов назад, когда я впервые попал сюда, у меня постоянно возникала в памяти улица Павья, какой она была до второй мировой войны — прежде чем сгорела. Толпы, слякоть, вывески, дома, трамваи, армяне, у которых я покупал гранаты, — Павья не выходила у меня из головы. Этот дом был еще не самый плохой, раньше писатель жил хуже, ниже, а выше ни разу, он так никогда, например, и не добрался до Невского проспекта. Достоевский часто менял квартиры. Его жизнеописания показывают, что он особенно любил угловые дома. Этому не дается никаких толкований, вероятно, просто случайность, а может, он, как каждый отшельник, искал сосредоточенности; впрочем, не исключено, что такие дома сами его находили.

Поздний час; когда я шел сюда, на всей улице мне встретилось не более пяти человек, это были молодые люди, парочки. Несколько часов назад, когда я был тут первый раз, мы вошли внутрь, пробежали по этажам. Лестничные марши широкие, каменные, старые, было в них что-то, чего я не умел определить. Цвет? Запах? Нет, не знаю. Восемьдесят лет назад это мог быть вполне приличный дом, хотя тогда требования были выше, купцы строили себе особняки, в доходных домах жила беднота. В доме четыре этажа, у нас бы сказали — три, но здесь первый этаж тоже считается. Несколько часов назад я был здесь не один. Правда, мой спутник, русский, не знал, в какой квартире стоял стол писателя и чей стол там стоит сейчас. Нам надо было взять с собой того, кто лучше бы ориентировался в биографии Достоевского, но выяснилось, что по каким-то причинам это невозможно. Гиды были заняты, а мы торопились. «Пусть нас присоединят к какой-нибудь экскурсии, неважно, какой», — предложил я. «Вы упрощаете, господин Рудницкий», — ответил славный Б.; мы оба рассмеялись. С последнего этажа я выглянул во двор: стены как истлевшие страницы книги, поленницы (все ленинградские дворы завалены дровами), фургон для перевозки мяса с металлическим кузовом, а в нем четверти говяжьих туш. Я замер; мне

показалось, что это картина в духе Достоевского. В Москве молодой писатель Ларин сводил меня в музей Достоевского. Мы шли по беднейшей части города, ничуть не изменившей свой облик почти за полтора века, к малюсенькому домишке, где родился Достоевский. Нас приняла какая-то старушка в платке. В тот день музей был закрыт, и она беспомощно разводила руками. Побродив по коридору, завешанному плакатами к фильмам, снятым по произведениям Достоевского, — музейные комнатки были закрыты на ключ, — я вдруг увидел старцев, вычеркнутых всеми из памяти, брошенных целым миром, престранно одетых, забытых в своих молельнях, куда никто не приходит. Когда кто-нибудь туда заглянет, старцы долго к нему присматриваются, словно спрашивая, кто пришел — неверный или, напротив, человек, «который не потерял веры и не дал сбить себя с толку». Русские оставили автора «Идиота» там, где он родился, не перенесли его в центр, не назвали его именем больших улиц, как сделали со всеми своими великими — Пушкиным, Гоголем, Толстым, Чеховым, Тургеневым. Со всеми — кроме него.

\* \* \*

Тут, за этими окнами, свершалась мистерия, которая не дает нам спать... Сила старости — вот что меня раньше изумляло. Старость обычного доходного дома — не дворца, не собора, чье величие с годами становится только заметнее. Доходный дом из бедного квартала с годами выглядит еще беднее. Наследие Достоевского — тоже такой дом. Доходный дом, и одновременно — дворец и храм. Старость сделала необыкновенным то, что в нем было обыкновенным. В первый раз и сейчас, ночью, меня поразила бедность этой улицы, бедность, которая есть богатство. Помню, когда в Италии или Франции я смотрел на старые стены, одна и та же мысль неизменно приходила мне в голову: в этих камнях заключалось всё, они вобрали в себя такое количество пережитого, что однажды кто-то с легкостью извлек накопившееся в них. Из камня легко выжать всё, потому что он впитал в себя всё. Старые камни впитали в себя всё, в то время как новые, километрами тянущиеся панельные дома молоды, зелены, и из них ничего не выдавишь. В этих новых многоэтажках, которыми так гордятся городские советы или муниципалитеты, всё только начинается, все еще только обустраивается, ничего, кроме приобретения новых вещей и мебели, не интересует их новых обитателей. Кожа говорит всё о человеке, камень говорит всё о городе, о времени. Эти новые огромные многоэтажки, где бы они ни стояли, еще не дозрели до слова, а вот такая улица, как здесь... Достоевский взял у нее всё, что только можно взять. Теперь она только умирает.

\* \* \*

«Господин Рудницкий интересуется Достоевским, пишет о нем...», — кое-кто из русских подтрунивал надо мной. Примерно четверть века назад, вернувшись из Советского Союза, Андре Жид обозначил то, что его глубоко взволновало: отход русской молодежи от своего великого отца — от писателя, который был для Запада альфой и омегой литературы, ее невозможно себе представить без него, без всех остальных — можно, а без него — нет. А. Жид написал книгу о Достоевском и на многие годы вперед превратил его в моду, которой свойственно быстро проходить или трансформироваться в нечто более глубокое. Я не помню, пытался ли Жид, помимо констатации факта, заняться его экзегезой. Когда-то я говорил, что во время войны Достоевский меня отталкивал, я не мог его читать. Так вот, революция — это перманентная война, это война каждого часа за каждый час, это война, которая изменяет интересы, потребности, иерархии. Сорок четыре года революции нужно умножить на месяцы, недели, дни и часы неустанной борьбы за новое, за новые законы, новые нравы, за элементарные вещи, необходимые для ежедневного существования. Сорок четыре года борьбы, неизбежных ошибок, безумств, завоеваний — достаточно, чтобы перепахать человека до основания. О, революция не игрушки! За годы подобного давления изменилось отношение к слову, и Достоевский лишь для немногих остался тем, кем он когда-то был для читателей, на чью долю не выпало подобных испытаний. Жид констатировал факт отхода от Достоевского, и процесс продолжал развиваться. Четыре года спустя молодежь вошла во вторую мировую войну, потом были новые события, которые эту «перепашку» углубили. Вот почему как минимум для двух поколений в своей отчизне Достоевский уже не является тем, кем он был для предыдущих, кем он был для Европы. На горизонте появился новый человек. Человек сельский.

\* \* \*

Два дня назад в Эрмитаже я стоял перед творением, которое надо рассматривать на коленях. Сначала прошла группа, ее вела экскурсовод. Указав рукой на картину, она произнесла: «Перед вами еще одно полотно известного художника Рембрандта “Возвращение блудного сына”, — и в качестве пояснения своей пастве бросила: “Был такой блудный сын...”» Из группы прозвучал ответ: «Теперь уже нет таких слов...». Через десять секунд они уже переключились на другие картины «известного художника Рембрандта», а ко мне подошел человек сельский и все; мы вместе смотрели на «Блудного сына». После долгого молчания он сказал густым голосом: «Сколько же он должен был пройти, чтобы довести себя до такого состояния. Это уже свинья, а не человек... Видно, что не богач, многое испытал», — произнес он перед портретом Старца. Бернанос где-то заметил, что нельзя без

потрясения читать описания нищеты в русской литературе. Лишь на поверхностный взгляд слова человека сельского звучат примитивно, примитивен скорее тот, кто сочтет их примитивными. В них есть второе дно, которое легитимизирует Революцию. Когда в Исаакиевском соборе я вгляделся в одну из гравюр, на которой были изображены запряженные, как лошади, крестьяне, везущие массивные каменные блоки, — строительство Петербурга в болотных топях, — мне пришла в голову мысль: история России завораживает, ибо в ней на относительно малом отрезке времени можно увидеть всё, что составляет историю всех великих народов, что разбросано в пространстве веков и тонет во мгле времени. В отличие от других, история России кажется почти сегодняшней, и при этом она определяет судьбу не только своих народов, но и отражается на нас всех. Воткнувший циркуль одной ножкой очерчивает историю Петра Великого, другой касается событий, которые заполняют первые страницы газет в разных частях света. И это не только история — сын или внук человека в лаптях, «из топи блат» вознесшего Петербург, взялся за перо и дал миру гениальные книги. Гениальные, ибо он начал искать ответы на вопросы, про которые Запад давно уже сказал себе, что ответов на них нет. Спрессованность времени привела к тому, что тень человека в лаптях никогда до конца не исчезала из русской литературы. Здешние писатели могут чувствовать свое собственное одиночество, но они никогда не теряют из виду человека, катящего валуны. Тень упряжного человека-лошади падает на всю русскую литературу и придает ей тот тон *caritas*, который так потряс Бернаноса и который так потрясает каждого из нас. Сказанное здесь о человеке сельском компрометирует меня, а не его, если я не окутал его этим облаком *caritas*, что является первой заповедью каждого пишущего.

\* \* \*

Все произошло за этими окнами. Здесь был создан мир, не похожий ни на какой другой. Кровь от крови, плоть от плоти автора... Писателя, совершившего последнее действие в литературе. Только литература, которая побуждает к действию, к подражанию, завоевывает людей, меняет мир, — остальное лишь приятное времяпрепровождение, милая беседа, милое объяснение вещей, которые объяснить невозможно. Действовать в литературе, должно быть, чрезвычайно трудно, раз это такая редкость. Необходимы очень глубокие корни, нужны соки, которые появляются крайне редко. Именно Достоевский совершил последнее действие в литературе — дал Раскольникова. После Раскольникова уже не было действий в литературе, хотя минул век. Все действия в западной литературе — по сути, объяснение Раскольникова. Сто лет прошло, а не видно, чтобы кто-то его собирался заменить. Оказывается, можно уничтожить десятки миллионов людей, сжечь их в печах, стереть с карты мира целые страны, но все это вместе не перевесит действия, действия в литературе, которое имеет свою автономию и совсем иную логику. Раскольников — это не портрет отдельного убийцы, это — всё, что на тему убийства можно сказать. Раскольников более выразителен, чем тираны, пошедшие по его стопам и прославившиеся поступками, перед которыми воображение меркнет. Сто лет назад Раскольников убил, а потом у нас были Освенцим, Трешлинка, Хиродима, но когда мы ищем портрет убийцы, мы возвращаемся к Раскольникову.

Любое действие в европейской литературе — перевод из него, этого человека, который сидел за каким-то из этих трех окон этого скверного дома в этом сомнительном районе города. Через сто лет книга читается иначе, видимо, Запад уже не был способен к действию, к нему были способны здесь. Всё, что Европа предлагает нам в качестве литературы сегодня, лишний раз подтверждает ее неспособность к действиям. О неспособности к действиям свидетельствует всё, что выходит из-под пера Ионеско, Сартра, Фолкнера. Писателем, который самостоятельно искал действия, был на Западе, вероятно, Хемингуэй. Но у него это так и осталось позой. Когда видишь тут эти толпы, кожей чувствуешь, что действие снова созревает, хотя не имеет пока определенной формы.

\* \* \*

Есть еще одна причина, по которой Достоевский оказал на нас такое большое влияние — он опередил свое время, вступив в дискуссию, которая по-настоящему разгорелась только после его смерти. По сей день он — главный свидетель спора, который продолжается. Манес Шпербер назвал его первым писателем, создавшим образ партийного ренегата. Любовь Достоевская в своей книге, написанной и изданной в Швейцарии в 1920 году, замечает, что произведения ее отца «никогда не нравились иудеям и левым». Теперь «иудеи и левые» без конца говорят о ее отце, он стал для них наиболее близким автором — самым читаемым и постоянно цитируемым. Достоевского по-настоящему убили в тот день, когда он стоял перед расстрельной командой, его не спасло царское помилование, он воскрес только в своей прозе, которая родилась уже как бы по другую сторону. Эта проза создана человеком, из которого ужас так никогда до конца и не испарился, и от всего, что он рассказывает, исходит этот ужас, придающий его произведениям специфическую окраску. Его герои вылеплены не только из его величия, но и из его страха. Пережив ужас, он перестал верить, что человек сам может многого для себя добиться. Глубокий мыслитель, он видел, где у марксистов самое слабое место, и бил по нему, атаковал их за то, что они отвергают первородный грех, страх, эгоизм, влияние которых бывает не только плохим, но по



крайней мере — спорным. Он нападал на них за неверие в силу зла, тогда как сам верил в личного дьявола, в зло как нечто абсолютно равноправное в человеке. Он обрушивался на них за то, что они хотят внушить человеку, будто он хороший, тогда как он в не меньшей степени плохой, низкий, злобный, слепой — слепой в отношении себя и других. Все социалистические начинания Достоевский считал безумством, которое приведет только к «потопу». Сам он не верил, что человек может спастись без помилования. Страх заслонил перед ним планы человеческих завоеваний, ибо не всё, что человек совершает, коренится в первородном грехе.

Из книги «Купец из Лодзи» (Warszawa: PIW, 1963)

## 3: ГОЛУБЫЕ СТРАНИЧКИ

Мне бы хотелось написать о вас, мой дорогой, — говорю я мысленно, закрывая книгу, как закрывают дверь, чтобы спустя какое-то время вновь ее открыть и убедиться, что мир и проблемы, собранные там внутри, не растворились, как часто бывает, в воздухе, не успели стать чуждыми, устаревшими под приличествующим слоем пыли. Вот я открываю эту дверь; вхожу; всматриваюсь на протяжении двух, трех, четырех страниц; выхожу, закрываю. Никаких «здравствуйте» и «до свидания». Обитающие тут тени меня не видят, и я им безразличен. Я даже, может, и сам один из них, я среди них, то есть — некий мой прототип, в данном случае уже как читателя. Я открываю эту книгу, как открывают дверь, за которой время затаило дыхание, давая мне возможность ненадолго что-то вспомнить. Законы времени здесь иные, и от его дуновения отмыкаются запоры более глубоких пластов памяти, я в ней — наряду с другими тенями — актер. Или, скорее, статист.

Я не сказал бы, пан Адольф, что ищу тут встречи с вами. Вы довольно редко показываетесь (хотя, может, не вы, а кто-то другой?) из этого своего оригинального языка, то есть из-за всех этих пустячных диванчиков, диванов-кроватей, этажерок, комодиков, занавесочек, столиков и так далее, которыми вы обставили пространство за дверью. Лишь из глубины памяти иногда всплывают какие-то фрагменты вашего облика. Ваше лицо. Шевелюра. Осанка. Задатки прирожденного Нарцисса, которыми пренебрегли. А всё же, почему вы им не стали, когда у других это отлично получалось?

Я открываю книгу, закрываю дверь. Закрываю книгу, открываю дверь. Раз за разом, словно вхожу на склад старья, которое, выпав из времени, не успело покрыться трещинами. Никто не упрекнет его в том, что оно с каждым сезоном все больше дряхлеет. Ничего подобного. Перемещенное на бумагу, оно само изъяло себя из тривиального пространства. На бумагу, в те груды книг, не столько антикварных, сколько подержанных, которые в огромных количествах нанесли в тоннель, бегущий под пятью перронами вроцлавского Главного вокзала. Расчетливость польских железных дорог гарантирует мне свободный час, который я регулярно там провожу, будучи проездом. В один из часов ожидания я взял такой потрепанный экземпляр. Из-за вас, дорогой автор. Ну, и немного для себя. Бумага ужасная. Напечатано неряшливо. Цена доступная. Я взял книгу и, как только поезд тронулся, сразу же открыл в нее дверь — впервые. Должно быть, она закрипела. Не помню. Но прежде я увидел наверху заголовок, очень в вашем стиле: «ВЕЧЕР ЕСТЬ ДУША ДНЯ». Ничего не скажу, довольно заманчивый. Красивый. От одних этих слов захотелось заглянуть внутрь. Не столько ради вас, пан Адольф, сколько прежде всего для себя.

Та шутка не была слишком изысканна, но в принципе безобидна. Правда, повторенная дважды или трижды, она утратила то, что в шутке тоже немаловажно — свежесть. Вдвоем с Яцеком Д., вечно молодым польским художником, потерявшимся в парижском районе Marais, мы взяли в типографии на первом этаже макулатуру, ловко ее упаковали и отнесли в Centre de l'Europe. Не застав господина Рудницкого, мы положили посылку ему под дверь. Спустя несколько дней собрали вторую и оставили ее внизу у портье. Яцек решил: поскольку посылки действительно удались, сделаем еще одну. Спустя какое-то время я встретился с Рудницким. Слово за слово, он поделился со мной своими самыми мрачными подозрениями — кто-то втягивает его в политическую провокацию. Некий аноним уже который раз подбрасывает ему посылки с левацкой литературой маоистского толка. Откровенно говоря, я даже не интересовался, что это была за типография, но вроде бы мы брали там бракованные каталоги для садоводов. Или преysкуранты на цветы? Мне не пришло в голову, что и в них могли затесаться темы, столь модные в Париже anno 1970. Левацкие. Маоистские. Сартровские. Рудницкий был взволнован. Он только не знал, как — и на кого — реагировать. Что касается меня, то я бы признался ему, и дело с концом, но Яцек счел, что этим мы лишь испортим всю игру.

Посылки прекратились. Нам расхотелось. Но в представлении Рудницкого дело не закончилось. Он к нему возвращался. Анализировал. Строил гипотезы. Ясное дело, это нас тоже забавляло. Нет бы предположить, что кто-то подбрасывает ему вторсырье, так он сразу — политическая интрига. Управление безопасности? КГБ? Моссад? Или ЦРУ? Или французская контрразведка? Какой-нибудь маньяк? Платный провокатор? Париж тогда

был вовсе не безопасным местом. О, нет. Уж скорее Варшава. Только скука там смертная. Косность. Духовная ограниченность. Как во всей Польше.

Старше меня на тридцать лет, он прекрасно себя чувствовал в роли ровесника, видимо, поэтому и держался молодцом. Если б он не был писателем, то со своей неплохой фигурой, хорошо поставленным голосом и светлой головой он мог бы сойти за актера. Вероятно, он даже и стал бы им. Ведь он и в жизни играл, и по нему нельзя было догадаться, насколько богат его жизненный опыт. Его случай был чудом. Еврей, выживший в войну. Впрочем, меня больше интересовало в нем то, как он умел себя подать, но я не назвал бы его своим литературным идиолом. «Голубые странички» в еженедельнике «Свят» смущали меня. Я не поспевал за их поэтикой. По моему разумению, автор чересчур углублялся в философию мысленных сокращений и весело блуждал в языке. Рудницкий полировал слова как поверхность мебели, раскладывал на них свои безделушки, гаджеты, воспоминания, приключения с малой буквы «п». К тому же я не знал ключа к этим столичным неприяням, рэнкингам и путаным взаимоотношениям. У меня неизменно оставалось впечатление, что я читал, да не всё вычитал. Я возобновлял попытки. Безуспешно. И в языке повестей (я взялся за пару без всякого энтузиазма) было нечто такое, из-за чего я в конечном счете начинал понимать Сандауэра